

*Лесу и всей Гленфиннанской
Народной Республике*

Глава 1

Два дня назад я решил покончить с собой. Я уйду, уеду на попутках, уплыву из этого мрачного города к ясным, пронизанным сыростью просторам западного побережья и там брошусь в предвечное великолепие моря, омывающего остров Айона (с его богатым ассортиментом плесневелых королей), чтобы чайки, и тюлени, и приливы разобрались по-свойски с моими останками и чтобы в предсмертные мгновения предвкушать встречу с шестигранными колоннами Стаффы и Фингаловой пещерой, а может, меня отнесет на юг, к Корриврекену*, и я буду крутиться в водовороте, слушая оглушенными, заполненными водою ушами, как звенит над безустанно бегущими волнами его огромный голос, — или на север, где поют белые пески и таятся под океанской зыбью розовопалые, твердые в своей мягкости кораллы, а радужные устои, возрастающие из кипящей, молочно-белой пены, твердо держат тысячефутовую крепостную стену прибрежных утесов.

Прошлой ночью я передумал, решил пожить еще немного. Все последующее — не более чем попытка объяснить.

Сперва воспоминания. Все начинается с воспоминаний, как то обычно и бывает. Первое: сотворение облака.

* *Айона* и *Стаффа* — небольшие острова у западного побережья Шотландии из группы Внутренних Гебридских. *Корриврекен* — знаменитый приливный водоворот в проливе Джура.

Мы с Инес сотворили однажды облако. Нет, без шуток, настоящее, самое взавравадшнее облако в голубой бескрайности неба. Я был тогда счастлив, и то, что мы своими руками смогли такое сделать, преполнило меня восторгом и благоговением и сладостным, страшноватым ощущением своей мощи, а заодно и своей крошечности, и когда это случилось, я хохотал и тискал Инес и мы с ней плясали на пожарище, раскидывая ногами черную, дымящуюся золу, и она обжигала нам щиколотки, а мы все скакали и кружились, задыхаясь от едкого, жгущего глаза дыма, и смеялись как сумасшедшие, тыча пальцами вверх, где медленно уплывала к горизонту эта огромная, созданная нами штука.

Обугленные соломинки перемазали нас с головы до ног, а вдобавок мы щедро зачернили друг другу лица сажей, как командос в кино. Запах гари въелся нам в волосы и в руки; вернувшись домой, мы не стали принимать душ, а только наскоро умылись, и потом за обедом в обществе ее родителей мы все время переглядывались, и вспоминали, и хихикали, а ночью, когда я, как обычно, пробрался в ее комнату, чувствуя себя, как обычно, полным идиотом, — *посмотрели бы сейчас на меня мои фэны, крадусь на цыпочках, как перепуганный малолетка*, — ее волосы пахли дымом, и подушка, и горьковатый привкус кожи.

А вот сейчас рукотворное облако ввергло бы меня в тоску. Нечто закрывающее солнце, роняющее на землю дождь или сажу, отбрасывающее тень, застилающее мглой...

Это было... давно это было. Мы только что подвели черту под «Night Shines Darkly», а может, это был следующий альбом, «Gauche»*, я уж и не помню. Инес

* «Night Shines Darkly» (англ.) — «Ночь блещет тьмой». «Gauche» (фр.) — неуклюжий, бестактный; в конце 60-х — начале 70-х слово «гошист» обозначало левака.

регулярно вела дневник, и я всегда уточнял у нее всякие вещи про прошлое и как-то уже привык, а теперь... теперь, когда мне не у кого спросить, как и когда все это было, я совсем теряюсь. Семьдесят шестой год? Может, да, а может, нет. Я гостил у них летом. Конец лета. Сентябрь? Когда они там жнут и убирают? Я вырос в городе и слабо в таком разбираюсь; деревенский парень сказал бы сразу, не раздумывая.

Ее родители жили на своей ферме в Хемпшире, ближайшим крупным городом был Винчестер. Я помню это потому, что я всю дорогу напевал «Winchester Cathedral», эта песенка и тогда уже была сильно старой*, Инес ее на дух не переносила, да и я тоже, а вот прилипнет такое — и не отвяжешься. Хлеб только что скосили, и поля опустели, от всего недавнего великолепия на них остались только длинные, неровные ряды светло-желтой колючей стерни (помню, мне все время лез в голову «Blonde on Blonde»**), а ворон было прямо не счесть, они кружили в небе, и пикировали, и приземлялись, неуклюже подпрыгивая, а потом расхаживали и что-то выклевывали из сухой, твердой как камень почвы. Чтобы выжечь стерню, по ней таскали здоровую, вымоченную в солярке тряпку; обычно это делал отец при помощи трактора, но на этот раз Инес попросила отдать одно, самое верхнее, поле нам, и отец согласился, потому что ветер был как раз подходящий, да и дорог там поблизости не было.

Погода в тот день выдалась любо-дорого, нам попадались по пути поля то выжженные дочерна, то стрижен-

* «*Winchester Cathedral*» — «Винчестерский собор», песня Джеффа Стивенса, хит 1966 г. в исполнении *New Vaudeville Band*; в 1967 г. исполнялась Петулой Кларк.

** «*Blonde on Blonde*» — двойной альбом Боба Дилана (1966); название можно приблизительно перевести как «Светлое на светлом», «Белокурое на белокуром».

ные ежиком, до которых у хозяев не дошли еще руки; при взгляде сверху вся эта местность должна была смахивать на анархичную, случайным образом раскрашенную шахматную доску. Обливаясь потом, мы тащились в гору со своими тряпками и канистрой мимо обвалившегося, чуть не насквозь проржавевшего жестяного сарая, через небольшую рощу (мы свернули туда нарочно, для тени) и наконец вышли на поле, по которому медленно ползли тени маленьких, как клочья ваты, облаков.

Ну и мы подожгли эту стерню — намочили тряпки соляркой и протащили их на веревках по двум сторонам огромного квадратного поля. Огонь схватился длинными трескучими полосами, темно-серый дым подсвечивался изнутри ярким оранжевым пламенем, а мы, совсем запыхавшиеся, смотрели, вытирая мокрые от пота лица, и закидывали комками сухой земли догорающие ошметки своих тряпок.

Пожар струился вдоль рядов коротеньких, сухих как порох соломинок и швырял их, горящие или прогоревшие, к небу; языки пламени широкими кнутами выхлестывали из серой колышущейся стены, оставляя за собой выжженную, дымящуюся землю, испещренную маленькими догорающими очажками огня; по полю бешено плясали миниатюрные смерчи, а трескучая стена пожара все ползла и ползла вперед. Бурый дым застлал голубое небо, превратил ослепительный диск солнца в тускло поблескивающую медную пуговицу. Я помню, как я кричал и бежал по краю поля, стараясь угнаться за огнем, видеть его, слиться с ним. Сияющая Инес шагала следом, скрестив руки на груди и не сводя с меня глаз.

Щетина сухой стерни горела быстро и яростно, я жмурился от яркого пламени, жар опалял мне лицо, от дыма першило в горле. По полю плясали короткие

белые хвосты кроликов, со всех ног улепетывавших от огненного вала, полевые мыши металась в поисках хоть чего-нибудь похожего на укрытие, вороны улетели и расселись по деревьям, их остервенелое карканье едва прорывалось сквозь обжигающий голос пожара.

Когда огонь добрался до оголенных краев поля и начал стихать, Инес взглянула вверх, и там было наше облако, огромная белая масса, увенчивавшая бурый столб дыма. Облако нависало над нами и медленно уплывало, за компанию с прежними пушистыми облачками, — странный гриб с белой, идеально гладкой шляпкой и грязной, скомканной ножкой. Я не находил слов, а просто стоял с отвисшей челюстью, стоял и глядел.

Даже в тот, первый момент облако сильно походило на гриб, когда же оно вместе с остатками дыма отплыло к соседней долине и встало над поселком, очевидные сравнения прямо напрашивались... но оно было *красивое* и не причиняло никому никакого вреда; изящное и могучее, оно было естественным элементом здешней сельской жизни, частью вечного круговращения времен года.

В других обстоятельствах я точно захотел бы как-нибудь *использовать* это событие, из него точно можно было бы высосать идею для новой песни... но я этого не сделал, скорее всего потому, что мы тогда только что закончили очередной альбом, меня натурально тошнило от всех песен, а от своих и тем более, к тому же эта вылазка на природу предполагалась как отдых ото всей и всяческой работы. Только ведь подсознание на кривой не объедешь, особенно если оно унюхало возможность заколотить на чем-то там случившемся бабки; хочешь ты того или не хочешь, оно приспособит твои воспоминания к делу, в чем я — значительно позже — и убедился.

Я точно уверен, что именно в этом памятном зрелище и коренится одна из идей нашего мирового турне 1980 года. Мы назвали эту примочку «Великая противоточная дымовая завеса». Оборудование встало нам ой как дорого, на отладку ушла бездна времени, ребята дружно считали, что овчинка не стоит выделки, и сто раз послали бы всю эту затею к чертовой матери, если бы не мое упрямство. Большой Сэм (наш менеджер, поразительно — для менеджера — похожий на человека) не видел и не хотел видеть ничего, кроме столбиков цифр, какие уж там столбы дыма, это для него вообще был полный абзац, он просто не понимал меня, хоть ты тресни, но и поделать не мог ничего, только что орал, а я имею счастливую способность слушать тихо и спокойно, вне зависимости от децибелов на входе. Жаль только, не всегда я эту способность применяю по делу.

История моей жизни или, во всяком случае, одна из сюжетных линий. Либо я знаю, что нужно что-то там сделать, но вот руки все как-то не доходят, либо я бьюсь изо всех сил над чем-нибудь таким, о чем в конечном итоге сильно пожалею. «Великая противоточная дымовая завеса» принадлежала ко второй разновидности. В конце концов мы наладили эту чертову штуку, и жаль, что наладили. Жаль, я не слушал, что мне говорят, и я буду до конца своих дней проклинать себя за то, что в тот раз с таким упорством навязывал другим свое мнение. Я не знал, что из этого получится, не мог и предположить, каким окажется конечный, жуткий результат моего ослиного — и весьма недешевого — упрямства, никто никогда не говорил мне, что они считают меня виноватым, но... А дело тут, собственно, в том, что это облако, которое сотворили мы с Инес, все же было использовано, на нем были

сделаны *деньги*. Эксплуатация, у нее тоже есть инстинкт самосохранения.

Вот это, к слову, Большой Сэм *непрерменно* бы понял.

В общем, такая вот история, такой вот день в деревне. Если бы нечто подобное произошло со мной теперь, такая ассоциация, случайное порождение образа тотальной угрозы, надолго выбила бы меня из колеи, повергла в состояние полной прострации, в тоскливые размышления, что, куда я ни сунься, вне зависимости от всех моих действий и наилучших, лежащих за ними намерений, символы хаоса и разрушения неотступно следуют за мной, стали неотделимыми от меня, как тело.

Но то теперь, а то тогда. Тогда я был другим. Тогда все было другое. Я был счастлив.

Господи ты мой боже, каким же все казалось простым — жизнь, гитара, песни.

Зачем кусаешь мои плечи?
Зачем дерешь ногтями спину?
Зачем в постель, как на войну?

«Лайза, ты меня не любишь», —
Проскулил я как-то утром.
«Ну и ну, — она сказала, —
Тебе что, три раза — мало?»

Вчера этот ветер вздувал мое пламя,
А сегодня гоняет золу.
Вчера этот ветер вздувал мое пламя,
А сегодня гоняет золу.
Вчера этот ветер, он вздувал мое пламя,
А сегодня гоняет золу.
Дрова прогорели, все угли истлели,
И ветер гоняет золу.

Это три образца из тех, что получше. Куски, которыми я почти горжусь. Можно бы продолжить этот... но нет, скромно воздержимся. Как-никак у меня еще осталось нечто вроде гордости.

Да и вообще, теперь меня занимает другая, новая, песня. Нечто, над чем можно работать, после такого-то перерыва. Мне нужно подыскать несколько новых слов, но ритм и мелодия — они уже здесь, каркас, основа.

Новая песня. Какой это знак, хороший или плохой? Знал бы я. Не думай о последствиях, а берись за дело и делай. Старайся не думать о последних двадцати четырех часах, не думать о прошлой неделе, слишком уж они были насыщенные, мучительные, а вдобавок и смехотворные, сосредоточь все свое внимание на песне, разыгрывай свои козыри, какие уж они там есть.

Я думал, что это конец... ну и зря.

Да-а, денек был еще тот. От почти верной смерти к самому натуральному финансовому самоубийству, не говоря уж о такой мелочи, как совершенно бредовый и наверняка провальный замысел, последняя отчаянная попытка сообразить: а какого же черта мне, собственно, надо, что же это такое хочу я получить? Счастье? Скорее уж — отпущение грехов.

Мне бы хотелось вложить в одну песню все сразу, спеть последнюю песню птиц, и собак, и русалок, дубоголовых приятелей и дурных новостей издалека (и тех, которые подтверждение, и тех, которые урок, и тех, что возмездие), песню магазинных тележек и гидросамолетов, электростанций и листопада, роковых контактов и концертов, вентиляторов работающих и вентиляторов рушащихся... только я прекрасно знаю, что мне слабó. Держись-ка ты одной песни, куплетов и припева, напой мотивчик, отстучи ритм, подбери слова... и назови ее «Улица отчаяния».

Так вот она и называется. Я знаю концовку песни, но не знаю, чем все это кончится. Я знаю (как мне кажется), что значит эта песня, но напрочь не знаю, что все это значит. Может, и ничего. Может, ни то ни другое и не должно ничего значить, есть ведь такая возможность. Ничто — оно всегда есть.

Три двадцать ночи по новым (вчера купленным) часам. Глаза саднит, словно песку в них насыпали. Город спит себе, похрапывает. Заварить, что ли, кофе? В такое время Глазго совсем затихает, странно даже как-то. Я отчетливо слышу одинокий грузовик на шоссе, рев мотора громко отдается в бетонном ущелье, глохнет под мостами и в туннелях и совсем затихает вдали, когда машина достигает Кингстонского моста и перебирается через Клайд, курсом куда-то на юго-восток.

Три двадцать одна, если верить циферкам на циферблате. То есть ждать еще два с половиной часа. Сумею я выдержать? Должен вроде бы. Столько ждал, чего уж теперь-то. Два с половиной часа... пять минут на сборы, а потом... сколько отсюда до вокзала? Ну, не больше пятнадцати минут. Итого двадцать. Ну, пусть полчаса. Тогда ждать всего два часа. А можно выйти пораньше и потолкаться на вокзале. Может, там буфет работает или фургон, торгующий гамбургерами на Джордж-сквер (хотя я слишком сейчас вздернутый, чтобы чувствовать голод). Можно бы пойти прогуляться, убить время, слоняясь по пустым холодным улицам и пиная пустые пивные банки, но у меня нет настроения. Я хочу просто посидеть здесь, в этой несуразной каменной башне, глядя на город, обдумывая последние двенадцать лет, и прошлую неделю, и вчерашний день, а потом встать и уйти и, может быть, никогда не вернуться. Три двадцать две с хвостиком.

До чего же быстро летит время, когда предаешься беззаботным развлечениям!

Где он сейчас, этот поезд? В двух с половиной часах отсюда или меньше... ну да, меньше. Два часа с небольшим. Карлайл? Ну, может, чуть-чуть поюжнее, во всяком случае — точно еще в Англии. Может быть, тяжело взбирается на Шапский холм сквозь неглубокие заносы искрящегося в звездном свете снега, тащит себе потихоньку свой груз сонных, укачанных перестуком колес пассажиров на север. Если только он идет по этой линии, я не знаю, можно было спросить на вокзале, но не спросил. Может, он идет по восточной линии, останавливается в Эдинбурге, а оттуда сворачивает на запад. Вот же зараза, нужно было спросить, теперь это обстоятельство кажется мне очень важным. Мне нужно что-нибудь такое, чем занять мысли.

Три двадцать три! И только-то. До чего же... нет, это я уже говорил, думал об этом. Я сижу и смотрю, как на циферблате меняются циферки секунд. У меня был когда-то «ролекс» из особой, ограниченного тиража партии, ценой с приличный автомобиль, но я его посеял. Подарок от... Кристины? Нет, Инес. Ей обрыдло, как я все время спрашиваю у всех, сколько времени, стеснялась она за меня.

Я вырос — стал в конце концов *взрослым* — при перманентном отсутствии значительной доли стандартного реквизита: часов, бумажника, дневника, чековой книжки, водительских прав... и не только реквизита, не только вышешпоименованных предметов, но и зашитых в мозг программ по их использованию, так что, даже когда у меня появлялась вся эта хурда-мурда, я как-то не чувствовал ее органичной частью себя. Даже получив от Инес в подарок этот «ролекс», я продолжал приставать к нашим техникам — сколько еще до начала

концерта. Записывающая компания презентовала мне бумажник от Гуччи, но я все так же рассовывал фунты и пятерки по каким попало карманам — я даже записывал деньги в тот карман, где лежал бумажник, вяло удивляясь, чего это скомканные бумажки так плохо туда лезут.

Безнадёга. С этим делом у меня всегда была полная безнадёга.

Дневник мой вела Инес, потому что у меня не получалось. Каждое второе января я честнейшим образом делал первую запись (думаю, шотландцам требуется нечто вроде особого божественного повеления, чтобы они согласились делать что бы то ни было упорядоченное *первого* января), но где-нибудь на второй неделе непременно обнаруживалось, что неким совершенно необъяснимым образом я уже пропустил несколько дней. Эти незаполненные, неопровержимо уличающие страницы вселяли в меня нервический ужас, моя память моментально блокировалась, я не мог, хоть тресни, вспомнить, что же происходило в пропущенные дни, и стеснялся спросить об этом кого-нибудь. Легче всего было попросту выбросить дневник, первопричину всех этих неловкостей. Водительских прав у меня так до сих пор и нет, и я раз за разом терял чековые книжки... Теперь я полностью перешел на наличность и кредитные карточки (весьма удобная штука, если ты достаточно состоятелен).

А еще я ненавижу телефон. В моем доме его не было и не будет (вряд ли вы назвали бы *это* домом, но тут разговор особый). Будь у меня телефон, я мог бы позвонить на вокзал, узнать, по какому маршруту идет поезд и где он сейчас. Но телефона у меня нет, а бегать по улицам в поисках не разгромленной хулиганами будки — удовольствие ниже среднего. Телеви-

зора тоже нет. Я личность сугубо локальная — ничего с приставкой «теле». А то в теперешних телевизорах есть этот «Сифакс», или «Престель», или как уж он там называется*. Может, я смог бы оттуда узнать, где сейчас находится пассажирский поезд из Юстона.

Господи, да что же я такое делаю? Соображаю ли я, что вообще делаю? Пожалуй что и нет. В первую руку мне бы не стоило задаваться вопросом, соображаю ли я, что вообще делаю. Впрочем, не стоит винить меня за эту кашу в голове, это будет не совсем справедливо, ну что там спрашивать с простого трубадура, с бедолаги рассеянного, с рядового техника, подвигающегося в секторе экономики, где самым стандартным продуктом является «сингл», одиночная пластинка со временем звучания три, максимум четыре минуты (*одиночная*, вы, наверное, заметили, это вроде как одиночная извилина в мозгу. Ну, конечно, если вам больше по душе тройной концептуальный альбом...) Кой хрен, я никогда не выставлял себя интеллектуалом и в мыслях не имел, что я какой-то шибко умный. А если и имел, то очень недолго. Я просто понимал, что выдаю хороший продукт, понимал, насколько хорош мой продукт в сравнении с тем, что выдают все остальные, и был уверен, что *нарисуюсь*. Вот такие вот были у меня честолюбивые планы, глупое это было честолюбие и беспомощное. Зашоренное.

Талант. Вот и все, что у меня есть, и ничего кроме, некоторый талант... А даже небольшая толика таланта может завести поразительно далеко, в наше-то время. Был бы рад похвастаться, что тут есть и нечто иное,

* *Ceefax, Prestel* — первые в мире системы телетекста; разработаны в начале и середине 1970-х гг. в Британии, соответственно компанией Би-би-си и Министерством почт, внедрены в конце 1970-х. «Престель» кое-где работает чуть ли не до сих пор.

большее, но не могу. Не имея склонности врать самому себе, я знаю, что никогда не имел каких-то там мощных позывов, выходящих за рамки таланта и везения. Я отнюдь не *должен был* делать то, что делал. Мне просто хотелось, очень. Если бы мне сказали, что я не смогу всю оставшуюся жизнь написать ни ноты музыки, ни слова текста, но зато для меня имеется хорошая, надежная работа в компьютерном деле или (чтобы поменьше отрываться от земли) в винокурении, я не слишком бы и расстроился. И все стало бы много проще.

Так вот я себе и вговариваю, сейчас.

Три двадцать пять с четвертушкой. Боже милосердный, оно что, совсем остановилось? Посмотрим, что у нас за окном. Небо почти чистое, маленькие, колючие звезды и узкий ломтик луны.

Полная тишина в городе, и не с кем поговорить.

Машина прогудела по Сент-Винсент-стрит, остановилась у светофора на перекрестке с Ньютон-стрит, в смеси ночной темноты и желтого света натриевых ламп. Легкий дымок выхлопа, левый указатель поворота ритмично мигает. Там, за светофором, под эстакадой начинается бетонный желоб заглубленной автотрассы, глубокий шрам на теле города. Движения по трассе нет. Маленькие зеленые человечки превращаются в маленьких красных человечков, главный светофор переключается, машина уезжает, тихая и одинокая.

Жаль, что я не умею водить. Всегда хотел научиться, но — обычная для меня история — так никогда и не собрался, а затем с неестественной быстротой перешел от состояния, когда машина не по карману, к возможности усадить за руль моей «пантер-де-вилль» наемную шоферессу и начал серьезно подумывать, не перейти ли из пешеходов прямо в летчики (вертолетчики). Но тоже так и не собрался.

Психанутый Дейви, вот он — он все это перепробовал. У него были и быстрые машины, и большие мотоциклы, и самолеты, и свой особняк. И он *действительно* был психанутый.

Может, я и тупой, но уж никак не психанутый и никогда психанутым не был.

Я оставлял эти игры Балфуру. Наш Дейви прямо-таки коллекционировал опасные, сумасшедшие выходы. Вроде как Трехтрубный тур, о котором еще будет речь. Бешеный ублюдок чуть меня тогда не угробил, и хорошо бы в первый раз. Это была одна из самых драматических его эскапад. Сделавшая то, что позднее случилось, еще более ироничным. И невыносимым.

Так ведь очень многое кажется невыносимым, по первости. Ну а потом непременно притерпишься, при достаточной практике и правильном подходе к делу.

И вот Кристина; стоит мне ковырять эту рану? *Ангел*, думал я, когда впервые тебя увидел, впервые услышал. Этот рот, эти губы, голос, словно сотканный из шелка и золота; тебя я тоже утратил, я выкинул тебя, я отвернулся от тебя, вынес тебе приговор, восторженный поклонник вначале, иуда до последних дней.

Я всегда знал, что ничего не получится. В некотором роде я именно этого и ожидал. Я с самого начала воспринимал себя как ни к чему не приспособленного человека, и я не чувствовал себя по-настоящему спокойно, уверенно ни с кем и нигде. Я просто решил, что, если никуда от этого не денешься, я ничего не потеряю, если попробую стать максимально удачливым неудачником, устрою такой тарарам, что всем чертям будет жарко, выдам ублюдкам не скупясь, по полной программе. Я подозреваю, что каждое общество имеет свои предохранительные клапаны, пути, на которых ненормальная личность может оставаться самой собой,

не причиняя вреда окружающим и (что важнее) не причиняя вреда структуре все того же общества. Мне повезло родиться в то время, которое прямо-таки заваливало идущих не в ногу людей богатствами, буде люди те умеют вести себя хоть мало-мальски прилично — ну и, конечно же, могут предложить что-нибудь взамен.

Господи Иисусе... Дейви, Кристина, Инес, Джин... и все, все, все... что вы видели, глядя на меня? Выглядел ли я в ваших глазах таким же тупым и неуклюжим, как в своих собственных? А то и похуже. В глубине души мне всегда было ровно по фигу, что там думают обо мне другие, но в то же самое время это меня очень волновало. Я никогда не ожидал, что все меня вот так вот возьмут и полюбят, но при этом я никогда не хотел оскорблять ничьих чувств, а потому должен был изо всех сил стараться быть милым, и щедрым, и сердечным, и всегда готовым прийти на помощь, и вообще вести себя таким образом, словно я отчаянно хочу, чтобы меня любили, и не только за то, что я делаю, а меня самого.

И вот я, один из немногих бодрствующих обитателей Глазго, сижу здесь, в нелепой, святотатственной башне покойного мистера Уайкса, сижу и гляжу на кладбище, которое не кладбище, полное могильных плит, которые не могильные плиты, гляжу на небо и на вечно изменчивые огни светофора, которые раз за разом повторяют один и тот же цикл своей примитивной программы, не обращая никакого внимания на присутствие или отсутствие машин, равно как и на все прочее, за исключением разве что перебоя в электропитании, и я поджидаю некий определенный поезд и собираюсь — вполне возможно — сделать нечто крайне глупое.

Анна Каренина?

Нет. Хотя я вполне могу отправиться на запад.

У меня трясутся руки. Сейчас я готов убить за сигарету. Не человека, конечно же, человека я за сигарету не убил бы. Я бы убил... ну, что-нибудь из низших растений или плоского червя, ничего такого с развитой нервной системой... нет, если подумать, за сигарету я мог бы убить мокрицу (многие ли мокрицы носят при себе курево?), но это просто потому, что эти жуткие ползучие твари вызывают у меня острое отвращение. Инес сказала как-то, что она тоже всегда топтала мокриц, а потом вдруг стала воспринимать их вроде как новорожденных броненосцев, и тогда оказалось, что их очень даже можно терпеть.

Новорожденные броненосцы, это ж надо такое придумать.

Я много лет как бросил курить, но сейчас вот было бы совсем неплохо затянуться; может, стоило бы выйти, найти круглосуточную автозаправку и купить там пачку без фильтра.

Нет, это просто нервы. Покурив, я всегда потом жутко терзаюсь виной. Лучше уж не надо. Да, а ведь выпить бы мне тоже хотелось. А вот это дело будет позакovskyристее. Выпить. Выпить выпить выпить. Не давать волю мыслям, а главное — рукам. У меня перманентное искушение, я ведь знаю, что здесь внизу сложено несколько дюжин контейнеров с выпивкой: «Столичная» с красненькими и синенькими этикетками, польская водка, венгерский бренди, белое и красное грузинское игристое (произведено по технологии шампанского), родной чешский «Будвайзер», восточногерманский шнапс. Целые ящики этого хозяйства, галлоны и галлоны коммунистического бухла, алкоголь в количестве более чем достаточном, чтобы обеспечить летальной дозой каждого биржевого брокера, каждого

судью и священника в Глазго, небольшой плавательный бассейн самой доподлинной Красной Смерти. Кроме того, на нижнем этаже «Уайксова каприза» — моего, значит, дома — находятся югославский самосвал, русский трактор и чехословацкий бульдозер, не говоря уж о прочей продукции Восточного блока в количестве достаточном, чтобы заполнить полки небольшого и, пожалуй, не слишком воодушевляющего универмага.

Я являюсь владельцем всех этих сокровищ Али-Бабы по некоей вполне ясной, рациональной причине.

...Еще слова для песни. Я наскоро карябаю их на обороте чьей-то чужой визитки, вроде как спасибо за предоставленную информацию. Только, пожалуйста, пусть сведения будут точными, пусть они не будут ложными, ошибочными или неполными. Пусть они будут правильными, если эта песня правильная, а я, со своей стороны, постараюсь изо всех сил, вот же честно.

Каряб, каряб. Готово.

Очередная проверка времени. Три тридцать, слава тебе господи. Осталось час пятьдесят минут. Время подумать здраво, время переоценить, переосмыслить.

Давай-ка попробуем выстроить все это в нечто вроде последовательности, введем все это в контекст, давай? Приведем все это в порядок.

Меня звать УЭЙРД*, меня звать Дэн, или Дэнни, или Дэниел, меня звать Фрэнк Экс, Джеральд Хлазго, Джеймс Хей. Мне тридцать один год, я преждевременно постарел, но так и остался малахольным маюсеньким майсиком, я блестящий неудачник и тусклая

* *Weird* (англ.) — странный, ненормальный, таинственный, потусторонний; а в значении существительного, причем именно у шотландцев, — судьба, рок. На протяжении романа фамилия и прозвище главного героя будут неоднократно обыгрываться.

звезда, я мог бы при желании купить «Боинг-747» *за наличные* и не имею ни одной пары целых носков. Я совершил уйму ошибок, которые обернулись к выгоде, и уйму разумных поступков, о которых буду жалеть до гробовой доски. Мои друзья все уже либо померли, либо наелись мной по это самое место, либо брезгуют мной, и я, положив руку на сердце, даже в чем-то их понимаю; я нечаянно невинен и отчаянно виноват.

Так что заходите, заезжайте, забегайте, входите, садитесь и заткните пасть, успокойтесь и слушайте... поддержите меня (эй, ребята, закатим-ка представление прямо здесь!)... поддержите меня в этом путешествии в прошлое по оживленной улице, именуемой... (вы сами догадались).

Глава 2

«Застывшее золото»: меня сразу затошнило от этого названия, но я ведь прямо лопался от самоуверенности и ни секунды не сомневался, что заставлю их его поменять.

А вот и не вышло.

Дождливый ноябрьский вторник, Пейсли, 1973 год. Мне было семнадцать, годом раньше я бросил школу и пошел работать к «Динвуди и сыновьям», в небольшую механическую мастерскую, где делали некоторые комплектующие для большого линвудского завода фирмы «Крайслер» (завод «Крайслер» был когда-то заводом «Рутс», позднее стал заводом «Талбот» и в конце концов оказался прикрытым заводом, автомобильный завод, который увял и зачах).

Большую часть рабочей смены я собирал стружку вокруг токарных станков, сочинял в уме песни и бегал в туалет. В туалете я курил, читал газеты и онанировал.

Я был тогда бешено молод, фонтанировал спермой, гноем и идеями, выдавливал прыщи, дрочил, записывал мелодии, тексты и скверные стихи, испытывал на себе все известные человечеству способы борьбы с перхотью, за исключением бриться наголо, и мечтательно размышлял, на что это будет похоже — перепихнуться.

И ощущал вину. Никогда не забуду это ощущение вины, неумолчную басовую партию моей жизни. Вина стала едва ли не первым, что я отчетливо осознал. (Не знаю, что уж такое я тогда сделал — напрудил на ковер, облевал папашу, ударил кого-нибудь из сестричек, выругался, — да какая, собственно, разница. Исходный проступок не играет тут практически никакой роли, главное — это вина.) «Плохой, *плохой* мальчик!», «*Мерзкий, нехороший* мальчишка!», «*Ах ты маленький паршивец!*» (*шлен*)... Господи, да я же впитал это как губка, это стало для меня самым определяющим переживанием, неотделимо вплелось в ткань бытия, это стало чуть ли не самой естественной вещью в мире, первейшим примером причинно-следственных связей: ты что-то там сделал — ты чувствуешь за собой вину. Совсем просто, проще некуда. Жить — это чувствовать вину и задаваться вопросом: «За что, о Господи? Что я такого *наделал?*»

Вина. С большой буквы «В», величайшее приношение католической веры роду человеческому и всяким его подвидам вроде психиатров... Ну, может, я малость и перебираю, я встречался со многими евреями, у них, сколько можно понять, с этим делом ничуть не легче, а ведь они будут малость подревнее, так что, может статься, это и не Церковь совсем придумала... но я берусь утверждать, что она *развила* концепцию вины глубже и шире, чем кто-либо иной, стала Японией вины, взяла чей-то там сырой, немудреный и ненадеж-

ный продукт и запустила его в массовое производство, непрерывно совершенствуя, отстраивая, оптимизируя его работу, снабжая пожизненной гарантией.

А есть люди, с которых все как с гуся вода, они словно стряхивают с себя саму возможность какой бы то ни было вины, как только выходят из дома; я так не могу. Я с самого начала воспринимал все это слишком уж всерьез. Я веровал. Я знал, что они правы: моя мама, священник, учителя. Я *был* грешником, я был грязен и мерзостен, а потому не имел никакой надежды уберечься от геенны огненной малыми усилиями; лишь высококвалифицированная работа, посильная исключительно настоящим профессионалам, могла спасти меня от вечного — вполне мною заслуженного — проклятья.

Первородный грех стал для меня истинным открытием. Я наконец осознал, что можно чувствовать себя виноватым, даже и не совершив никакого конкретного проступка, что это жуткое, неотступное, изматывающее ощущение непосильной ответственности может быть отнесено на счет того, что ты попросту *живешь*. Четкое логическое объяснение! Ни себе хрена. Надо признаться, это было большим облегчением.

Так вот я и чувствовал себя виноватым, даже после того, как бросил школу, даже после того, как перестал ходить в церковь (какие там «даже» — *особенно* после того, как перестал ходить в церковь!), даже после того, как ушел из дома и начал снимать квартиру за компанию с тремя студентами, продвинутыми ребятами и атеистами. Я чувствовал себя виноватым, что бросил школу и не поступил в университет или колледж, виноватым, что не хожу в церковь, виноватым, что ушел из дома и оставил маму один на один с заботами обо всем остальном нашем семействе, я был виноват, что курю, виноват, что дрочу, виноват, что все время норовлю

улизнуть в сортир и почитать газету. Я чувствовал себя виноватым, что не верю больше в концепцию вины.

Тем вечером я забежал домой повидать маму, а заодно и сестер-братьев, какие случатся под рукой. Мы жили на Теннант-роуд, в Фергюсли-парке, по тому времени это был самый опасный пригород Пейсли, скопище унылых, запущенных бетонных коробок, заселенных по преимуществу «проблемными» семьями.

Фергюсли-парк занимает треугольный участок земли, ограниченный тремя железнодорожными линиями, натуральная резервация. Наши улицы были сплошь усыпаны битым стеклом, а половина окон первого этажа заколочена фанерой и картоном. Граффити были последними скрепами, на которых кое-как еще держались стены.

В то время баллончик с аэрозольной краской представлял для местных хулиганов нечто вроде социального символа, вроде как «паркеровская» авторучка; это был знак, что ты *явился* и являешь угрозу обществу, что ты милостиво согласился посвятить часть своего драгоценного времени теории и практике художественного вандализма, равно как и таким стратегически более эффективным, но эстетически менее изысканным формам вредительства, как прошибание дыр в стенках, разбивание оставленных на улице машин и лихие, хотя редко дававшие положительный результат эксперименты по хирургическому исправлению внешности членов других, враждебных шак.

Все подъезды приземистых, уродливых зданий за одну ночь заваливались пустыми бутылками из-под крепленого вина и досуха высосанными банками от лагеря, словно люди выставляли всю эту алкогольную посуду вместо молочных бутылок, в тщетной надежде на утреннюю доставку.

Я не стал засиживаться у мамы, старая квартира меня угнетала. Вот, к слову, еще один повод для вины: я считал, что, если по-хорошему, любовь к маме должна была бы перевесить все мои плохие воспоминания, связанные с этим местом. В нашей квартире всегда пахло дешевой стряпней, я затрудняюсь сказать о ней что-нибудь еще. Это был запах прогоркшего сала, разогретых банок дешевого ирландского рагу, вечных консервированных бобов и обожженных ломтиков белого хлеба, запах объедков рыбы, спаянных затвердевшим жиром, запах готовых китайских блюд и карри, смешанный с вездесущим запахом табачного дыма. Слава еще богу, мои младшие братья и сестрички подросли и теперь их не так регулярно тошнило.

Мама завела обычную волынку насчет ходи в церковь, если уж не на службу, то хотя бы на исповедь. Я-то хотел ее расспросить, как там она и как малышня и не слышно ли чего от папаши — обо всем, за исключением единственного вопроса, о котором хотела говорить она. Так что мы не разговаривали друг с другом, мы говорили каждый о своем.

Все это меня вконец достало. Я чувствовал себя никчемным, виноватым и абсолютно не в своей тарелке, сидел, тупо кивая, пожимая плечами, качая головой (крайне редко), и чинил одну из игрушечных машинок крошки Эндрю (он заходился ревом). В квартире было сыро и холодно, но я все равно вспотел. Мама, по своему обыкновению, садила одну сигарету за другой, но я всегда обещал ей, что не буду курить, а потому не мог вытащить из кармана свою пачку. Так вот я и развлекался — страдал без курева, неумело пытался починить братцу игрушечную машину и думал об одном: как бы это улизнуть попримичнее.

В конце концов я улизнул. Оставил пятерку на полке около передней двери, рядом с пузырьком святой воды, и ушел, но сперва пообещал, что вернусь, когда пабы закроют, куплю готовых рыбных обедов и вернусь, и еще пообещал подумать насчет снова ходить в церковь или хотя бы просто зайти поговорить с отцом Макното, и вообще вести себя хорошо и не отлынивать от работы... Отчетливый запах мочи в подъезде показался почти облегчением, я словно снова начал дышать.

Моросило. Я поднял воротник и пересек улицу, хрустя битым стеклом, которым были практически вымощены наши улицы, как в других местах — щебенкой. Затем я зашагал по грязной траве мимо обгорелых обломков ДСП, насквозь промокших кусков картона и мятых, с лужицами жирной воды внутри, алюминиевых посуды от готовых обедов. На Бэнкфут-драйв, в безопасном удалении от нашего дома, я нырнул в первый попавшийся подъезд и закурил, втягивая дым с жадностью утопающего, которого только-только вытащили из воды и дали глотнуть воздуха. В подъезде воняло, противоположная стена была изукрашена безграмотными надписями и бездарными рисунками, где-то наверху кто-то орал дурным голосом. В ближайшей ко мне квартире врубили телевизор на полную мощность — надо думать, чтобы заглушить эти вопли. Я стоял в распахнутой двери, курил и смотрел на мокрое убожество Фергюсли-парка, чуть поеживаясь, когда мне капало за шиворот.

Мокрый Фергюсли, моя колыбель, арена моих игр и приключений. Я ушел от него, но недалеко, всего на какую-то милю. Он все еще меня держал. Господи, что это была за помойка, что за жуткая трущоба. Идеальнейшая фактура для документального фильма, который никто, к сожалению, так и не снял. Упадок

городских окраин? Ошибки послевоенного городского планирования? Обвинительный акт вытеснению «трудных» семей в гетто? Все это и многое другое. Тащите, ребята, свои модные теории и побольше пленки, но не забудьте запереть бак «рейнджровера» и закрепить колеса специальными, против воров, гайками. Ну и прихватите с собой пару дробовиков.

А мне все это обрыдло. Я хотел вырваться.

Я вытащил из внутреннего кармана куртки несколько сложенных вчетверо листов. Один из студентов, с которыми я снимал квартиру, дал мне попользоваться пишущей машинкой, и я напечатал кое-что из своих песен. Я купил в музыкальном магазине настоящую нотную бумагу и аккуратно перенес все половинки-четвертушки-восьмушки из старых блокнотов, а затем напечатал внизу слова.

Прекрасно понимая, что автор-исполнитель из меня никакой, я пребывал в размышлениях, какую бы это группу сделать богатой и знаменитой. Я обзавелся старой, прошедшей через множество рук басовой гитарой и уже почти научился на ней играть; кроме того, я имел некоторое, самое зачаточное, представление о нотной грамоте. А начиналось все с полной экзотики. В нежном восьмилетнем возрасте я изобрел свой собственный способ записывать музыку — при помощи миллиметровки и двадцати цветных карандашей, подаренных мне на Рождество. Станным образом эта система, при всей ее сложности и неуклюжести, работала. Она стала моим личным достоянием, предметом моей гордости, и я восемь лет кряду упрямо противился неизбежному, отказываясь изучать общепринятую музыкальную нотацию и даже пытался убеждать каждого, кто соглашался меня послушать, в преимуществах моей системы. Я страстно, искренне верил, что в конце концов музыкальный мир

увидит, что она лучше, и дружно на нее перейдет. Это будет нечто вроде перехода на десятичную систему, на метрическую систему мер...

Псих, да и только.

В конце концов я чуть ли не с отвращением купил себе музыкальный самоучитель и, преодолевая внутреннее сопротивление, освоил азы нотной грамоты — нотный стан и тактовые размеры, хотя всякие там уменьшенные септаккорды в миноре и последования так и оставались для меня грамотой скорее уж китайской. (Но кой, собственно, черт. Я слышал свои песни в голове, и они звучали великолепно. Перевести их из головы во внешний, реальный мир будет мелкой технической задачей. Играть на гитаре или клавишных или записывать готовую музыку на бумаге — это может каждый олух, а вот чтобы придумать мелодию, нужен настоящий талант.)

Сегодня я направлялся в студенческий клуб местного Технологического колледжа, где играла группа *Frozen Gold*. Один мой школьный знакомый, который работал теперь подручным токаря в той же мастерской, что и я, слышал этих ребят в Глазго, когда они играли в каком-то пабе, и проникся. Я отнесся к его восторгам крайне скептически. «Застывшее золото»? Жалко и беспомощно. У меня была наготове целая прорва значительно лучших названий. В том крайне маловероятном случае, если эта команда мне подойдет, я дам им выбрать из моего списка.

Я плелся под дождем, ссутулившись и до отказа засунув руки в неглубокие карманы промокнувшей вельветовой куртки. Я шел, низко наклонив голову, чтобы не замочила зажатая в зубах сигарета, а потому не видел вокруг ничего, кроме мокрой, расхлупанной земли. Покидая Фергюсли-парк под железнодорожной

эстакадой, я выплюнул окурок (от сигареты остался практически один фильтр) в канаву.

В клубе было тепло и шумно. Пиво там давали по двадцать пенни за пинту, а послушать группу стоило всего пятьдесят. В баре нашлось несколько моих знакомых, мы покивали друг другу, поулыбались, обменялись приветствиями, но я пришел сюда совсем не за этим, а потому напускал на себя вид серьезный и задумчивый, изо всех сил демонстрировал, что мысли мои заняты делами куда более серьезными, чем потрепаться с ребятами, выпить и развлечься. Скорее всего я вел бы себя так даже в сугубо мужской компании, однако, если по-честному, мой выпендрож был ориентирован в первую очередь на девиц. Перед ними был человек с призванием, скромный юноша, в чьем нагрудном кармане, рядом с сердцем, таится будущая история популярной песни. Я многое повидал, я был значителен... во всяком случае, не подлежало ни малейшим сомнениям, что я *буду* человеком значительным, и в самое ближайшее время.

Я отнес свою кружку в нижний зал клуба — скромных размеров помещение, использовавшееся по большей части в качестве бильярдной. Грязновато-серое здание клуба, располагавшееся на склоне холма, обращенном к железнодорожной линии Гурок-Глазго, принадлежало когда-то службе социального обеспечения и, надо думать, именно поэтому было построено в предельно унылом стиле «слепой кубист с большого бодуна». В зале, где этим стылым золотушникам предстояло найти свою судьбу — либо пройти мимо нее, чтобы потом всю жизнь кусать себе локти, — было уже жарко и накурено. Я почти чувствовал, как от моей мокрой одежды поднимается пар; кроме того, я чув-

ствовал запах своего тела. Ничего такого уж оскорбительного для обоняния, уютный, в общем-то, запах, но рядом со мной стояли две девушки, и я очень жалел, что не забежал домой, не попрыскался одеколоном.

Группа состояла из пяти человек. Ведущая, басовая и ритм-гитары. Барабаны и хэммонд-орган. Три микрофона, считая тот, что для ударника. Аппаратура выглядела на удивление прилично, усилки и колонки считай что без царапинки, а «хэммонд» так и вообще нулевой. Двое техников (их собственные, что ли?) расставляли и подключали аппаратуру и почти уже покончили с этим делом. А самой группы — ни слуху ни духу. Я не понимал, с чего это такая вроде бы достаточно богатенькая команда подрядилась играть в этом крошечном зале и практически без рекламы. По некоей малопонятной причине из этого почти уже точно вытекало, что они совсем не то, что я ищу. Будь в моей кружке поменьше пива, я бы тут же ее допил и со значительным видом покинул клуб, потащился бы под дождем домой. Еще один вечер в четырех стенах у крошечного электрического камина, уставившись вместе с ребятами в черно-белый телевизор, либо читая какую-нибудь библиотечную книгу, либо терзая Кенову акустическую гитару, либо покер по пенни, а может, пинта-другая в «Бисланде», пока не закрылось в десять... но вместо всего этого я остался, хотя ни на что уже, собственно, не надеялся.

Команда, четверо чуваков и чува. Две девицы, которые рядом, отчаянно захлопали и закричали, музыканты махали в ответ руками и улыбались. Как оказалось, девицы знали их поименно. «Эй, Дейви!» — кричали они; молодой блондинистый парень с джибсоновским «лес-полом» в руках подмигнул им и наклонился, чтобы воткнуть гитару. Он смотрелся прямо как картинка

из журнала: идеальные волосы, зубы и кожа, широкие плечи, узкие бедра. Красавчик скинул черную кожаную куртку, слишком мягкую для настоящей кожи, но очевиднейшим образом слишком дорогую, чтобы быть из заменителя, и явил восхищенному миру белоснежную рубашку. Шелк, подсказало мне что-то, хотя до того самого момента я в жизни не видел шелковой рубашки, ну разве что в кино. Линялые «левис». Рост чуть поменьше, чем мне сперва показалось. Он понижее опустил микрофон и ослепительно ухмыльнулся стягивающейся публике. Я уцепил глазом наручные часы стоявшего впереди парня; ёж твою в дрожь, они начинали точно вовремя!

Остальных мужиков я считай что и не заметил, теперь все мое внимание сосредоточилось на девушке. Тоже блондинистая, довольно миниатюрная, с полуакустической гитарой, одета в той же, что и чувак, гамме — белый и линялый синий, если сверху вниз. И тоже примерно одного со мной возраста, ну разве что чуть постарше. Фронтгёрл. Зуб даю, петь она не умеет, а гитара, может, и вообще не подключена. Но лицо — сила. Чуть-чуть полновато, если уж цепляться за последнюю соломинку в назойливом желании ну хоть что-нибудь да покритиковать. Это ж физически невозможно, чтобы при такой внешности да еще и голос.

Мамочки, а улыбка-то, улыбка, ну прямо... теплота этой легкой, застенчивой улыбки явно превосходила мои метафорические способности. Девушка перевела взгляд с публики на Адониса с «лес-полом» и одарила его улыбкой, ради которой я вполне мог бы укукошить что-нибудь из высших позвоночных.

Я не понимал, что делают здесь эти ребята, но они пришли сюда явно не ради меня. Они не сыграли еще и ноты, но ты уже *видел*, какая крутая это группа. Как-

то так, само собой создавалось впечатление, что у них уже есть контракт на запись (хотя кто-то говорил мне, что еще нет). Я-то подыскивал какую-нибудь полусформировавшуюся, грубую банду рокеров, которые более-менее научились уже играть, не имеют своего оригинального материала и будут делать все, как им скажешь, — в музыкальном, во всяком случае, смысле. Играть мои долбаные песни, и без никаких там выпендражных запилов.

Насчет девушки я ошибался. Она и греческий бог вели на пару, лид- и ритм-гитара, и оба пели. «Jean Genie», новейший Боуи. Она умела петь, он умел играть. Собственно, она тоже умела играть — вполне пристойная ритм-гитара, уверенная и в то же время энергичная, прочная надстройка над басовой партией. Бас был как автосборочный завод: размашистый, четко упорядоченный, деловой, а ее ритм-гитара была вроде ультрасовременного, собравшего все архитектурные премии административного корпуса — блестящая, но одновременно человечная. Лид-гитара блондинистого чувака была... мамочки, собор, вот что это было. Готика и Гауди, поздний перпендикулярный* и сборочный корпус НАСА. И не в скорости дело, чувак совсем не рвался побить какой-то там мировой рекорд по перебиранию струн на лид-гитаре, звук у него был легкий, он просто струился словно сам собой, естественно, непринужденно — и безукоризненно. На этом фоне все наши местные герои гитары воспринимались как громоздкие транспортные самолеты рядом с «фантомом», выписывающим петли высшего пилотажа.

После Боуи они без остановки перешли на «роллинговскую» «Rock This Joint», а затем ломанули «цеп-

* *Поздний перпендикулярный* — стиль декора в английской готической архитектуре, не имевший аналогов на континенте.

пелинов» «Communication Breakdown» — даже вроде бы чуть быстрее оригинала, если такое может быть.

Моего предвзятого скептицизма хватило только на первые тридцать секунд «Jean Genie», да и то лишь потому, что я безнадежный сноб и Боуи для меня чересчур уж «коммерческий»; начни они с «роллингов» или «цеппов», я въехал бы сразу. Но и так через полминуты у меня отвисла челюсть. Эти ребята делали своей игрой именно то, что я хотел делать сочинительством. Были, конечно же, и шероховатости, как же без этого, барабанщик стучал с энтузиазмом, сильно превышавшим его квалификацию, клавишник больше старался показать себя, чем играть с командой, а сильный, хорошо поставленный голос певицы звучал слишком уж сдержанно. Я изо всех сил старался оценивать ее исполнение холодно, аналитически и умудренно решил, что в нем сказывается классическая школа.

Даже лид-гитарист пробовал иногда запилить непроломный для него рифф, но, глядя в такие моменты на его лицо, я отчетливо чувствовал, что это так, небольшая временная трудность. Заблудившись в бешеном потоке звуков и вынужденно отступая, переходя на что-нибудь попроще, он чуть-чуть кривился, улыбался и встряхивал головой, и создавалось впечатление, что это просто не совсем еще отработанный пассаж, удающийся ему на репетициях, а чаще всего и на выступлениях, но вот сегодня что-то не пошло.

В общем, играли ребята хорошо, однако по программе у меня были к ним претензии, и очень серьезные. Они вроде и сами не знали, чего хотят; материал для первого отделения был понахвачан с бору по сосенке, из таких малосовместимых источников, как, скажем, *Slade* и *Quintessence*; некоторые вещи были явно взяты для того, чтобы дать покрасоваться лид-гитаристу (в

том числе и пара треков Хендрикса, на которых он не ударил в грязь лицом, только слишком уж близко следовал оригиналу), а некоторые представляли собой не более чем среднюю танцевальную музыку.

Сумбурно, неряшливо, но вполне приятно. (Примерно так мой старший брат описывал мне секс.) К концу первого отделения я весь взмок, ноги у меня гудели, в ушах звенело. Мой лагерь совсем согрелся, за все это время в зале я отхлебнул из кружки не больше двух глотков. Сигарета, которую я закурил в середине первой песни, догорела до фильтра и обожгла мне пальцы, у меня кружилась голова от открывающихся перспектив, от каких-то диких планов. Я искал команду совсем иного плана, эти ребята были не то, что мне надо, не совсем то... и все же. И все же, и все же, и все же...

Не знаю уж, на что было похоже мое лицо, но одна из двух стоявших рядом девушек была настолько захвачена выступлением группы, что энтузиазм пересилил ее естественное и более чем понятное нежелание иметь что-либо общее с длинным, уродливым, по-идиотски выпучившим глаза психом; она возвела на меня очи и возгласила: «Ну прям отпад, ага?» — «А ты как считаешь, а? — спросила у меня ее подружка. — Круто?» Я был настолько потрясен, что как-то даже и не отметил в сознании, что беседую с двумя вполне клевыми чуваками и что это *они сами* завязали разговор *со мной*. Я торопливо мотнул головой и сглотнул слюну, чтобы смочить пересохшее горло.

— З-д-д-дорово.

Но даже мое заикание их не устрасило.

— Я прям уторчалась, — констатировала первая. — Прям в жопу уторчалась. Видел, а? Да они прогремят мощнее, чем... — Она смолкла, подыскивая адекватное сравнение. — Чем «Слейд».

— Или «Ти-Рекс», — добавила ее подружка. Обе они были маленькие, с длинными черными волосами. Длинные юбки. — Мощнее, чем «Ти-Рекс». — Она подтвердила свои слова энергичным кивком; другая девица тоже кивнула в знак согласия.

— Мощнее, чем «Ти-Рекс» или «Слейд».

— Или Род Стюарт, — сказала вторая, расширяя диапазон сравнений.

— Род не команда, он один парень, — возразила первая.

— Но у него есть группа, «Фейсиз», я видела их в «Аполло» и...

— Ну да, но все равно...

— И-и-и... — начал я.

— Мощнее Рода Стюарта, — безапелляционно возгласила вторая.

— Т-т-т... — сказал я, пытаюсь запуститься с другого слова.

— Ну или пусть круче него и «фэйсов», лады?

— А к-как у н-них с оригинальным м-м-м-материалом, — выговорил я наконец. — Н-нету, что ли? Девицы уставились друг на друга.

— Это что, вроде как в смысле своих песен?

— Ммм, — сказал я, прикладываясь к теплому лагеру.

— Да вроде нет, — сказала первая (анк* на тонком ремешке через шею и прорва дешевых индейских блякушек).

— Не-а, — мотнула головой вторая (жилетка из варенки под тяжелой курткой из искусственного меха). — Нету. Но говорят, они там сочиняют. Точно.

Она окинула меня скептическим взглядом; ее подружка глазела тем временем на крошечную эстраду,

* Анк — египетский крест (Т-образная фигура, увенчанная кольцом), символ жизни в Древнем Египте.

где барабанщик и один из ребятг что-то делали с педалью басового барабана. У меня возникло неприятное чувство, что я ляпнул нечто неуместное.

— Выпьем, а? — спросила первая у подружки, глухо стукнув пустым стаканом о стакан.

Пока я пытался выдать: «Не мог бы я угостить вас пивом?», они оказались уже за пределами голосового контакта. Такая короткая фраза, и столько трудных консонант.

Второе отделение оказалось заметно хуже. Возникли проблемы с аппаратурой, ребята порвали целых четыре струны, но главное было даже не в этом. Материал представлял собой точно такую же окрошку, какая разочаровала меня раньше, только теперь все это было как-то слабее, словно первое отделение они составили из хорошо отработанных, многократно отрепетированных песен, а во второе отнесли материал только-только разучиваемый. Слишком уж часто они фальшивили, слишком уж часто барабанщик стучал не в такт остальной группе. Однако публика не имела никаких претензий и хлопала-топала с энтузиазмом даже большим, чем прежде, мне же совсем не стоило наводить такую критику; при всех своих недостатках *Frozen Gold* были на голову выше всех групп, какие мне доводилось слышать в местных залах, — кой черт, да они были просто в другой весовой категории и со дня на день могли перейти в высшую лигу, на большие сцены, под яркий свет прожекторов.

Они закончили на «Love Me Do», сыграли на бис «Jumping Jack Flash»* и поставили последнюю точку — уборщик стоял в дверях зала, делал им знаки и тыкал

* «Love Me Do» — песня *Beatles* (1962), первый их сингл. «Jumping Jack Flash» — песня *Rolling Stones* (1970).

пальцем в свои наручные часы, а техники начали уже отключать аппаратуру — акустической версией этой вещи *Family*, «My Friend The Sun», в минимальном составе: Адонис с гитарой и девушка на вокале. Эти двое работали настолько великолепно, что выискать какие-то там недостатки мог бы разве что самый злобный и недоброжелательный рок-журналист. Публика требовала еще, но уборщик уже выключил свет в зале и отрубил питание; я присоединился к толпе фэнов, сбившейся перед невысокой эстрадой.

Девушки, разговаривавшие в перерыве со мной, болтали теперь с этим парнем; два пьяненьких студента объясняли белокурой певице, что она самое невероятно прекрасное существо женского пола, какое они видели в жизни, и не согласилась бы она как-нибудь где-нибудь с ними выпить, она же улыбалась, трясла головой и споро откручивала микрофон от стойки. Я видел, что блондинистый гитарист краем глаза присматривает за этой сценой, не прекращая, однако, беседы с девицами.

Я протиснулся рядом с девушками, стараясь выглядеть серьезно и заинтересованно, как человек, настроенный обсудить важные проблемы, а не просто сказать: «Круто, ребята» или что уж там еще, но не скрывающий при этом, какое глубокое впечатление — с определенными, конечно же, оговорками — произвело на него услышанное сегодня. Что из этого получилось, даже думать не хочется; скорее всего выражение моего лица говорило: «В лучшем случае я — профессиональный подхалим, напившийся до опасной степени, но скорее — клинический психопат с пунктиком насчет музыкантов». Парень поглядывал иногда в мою сторону, но я смог поймать его взгляд только после того, как девицы выяснили, где будет следующее выступление

группы, а одна из них получила вдобавок автограф шариковой ручкой на предплечье. Когда они удалились, чуть не писаясь от счастья, парень переключил внимание на меня.

— Привет, — сказал он и чуть улыбнулся.

— Вы з-д-д-дорово играете, — пробубнил я.

— Угу.

Парень начал сворачивать какой-то кабель, затем он отвернулся, взял у одного из рабочих открытый гитарный футляр и загрузил в него свой «лес-пол».

Я откашлялся и сказал:

— Я т-т-т...

— Да? — Он оглянулся, но в этот самый момент подошедшая девушка обняла его за шею, чмокнула в щеку, приобняла за талию и встала рядом, хмуро на меня поглядывая.

— Я т-т-тут под-д-думал...

— О чем?

Рука девушки медленно, рассеянно поглаживала затянутую белым шелком талию. У меня пропали последние остатки решительности. Эти двое выглядели так здорово, они так подходили друг другу, были такими счастливыми, красивыми и талантливыми, такими чистыми и ухоженными, и это после такого напряженного выступления; от нее, а может, и от него доносился запах какой-то дорогой парфюмерии, и я понимал, что просто не смогу сказать того, что собирался, ничего не смогу сказать. Безданная, заранее обреченная затея. Я — это я, громоздкий, страхолюдный, дурацкий Дэнни Уэйр, уродливый мутант в семействе, долговязая жердина с волосами как пакля, прыщами на роже и вонью изо рта... Я был чем-то вроде грошового, непотребного журнальчика, пожелтевшего и захватанного грязными пальцами, эти же двое были

пергамент в сафьяновом переплете. Я был дешевой, покоробленной сорокапяткой, изготовленной из вилового вторсырья, эти же двое были золотыми дисками... они жили в совершенно ином мире, они были уже на полпути к славе и богатству. А я был обречен на Пейсли, на серые, замызганные стены и готовые обеды из чипсов и дешевой рыбы. Я еще делал жалкие попытки заговорить, но не мог выдавить из себя даже заикающегося «д-д-д...».

Неожиданно девушка наморщила лоб еще сильнее и спросила, кивнув головой, словно уверенная в ответе:

— Ты ведь Уэйрд, верно?

Парень взглянул на нее слегка ошарашенно и, во всяком случае, удивленно, на его лице дрожало нечто среднее между неодобрительной гримасой и улыбкой; затем он перевел взгляд на меня, трудолюбиво продиравшегося через фразу:

— Д-д-да, да, э-т-то я.

— Что? — спросил у меня парень. Я протянул руку для знакомства, но он снова повернулся к девушке. — Что?

— Уэйрд, — сказала девушка. — Дэнни Уэйр. Д. Уэйр. Уэйр, запятая, Д, так было в школьном журнале, а отсюда — Уэйрд. Это его прозвище.

Парень просек и кивнул.

— Так оно и было, — ухмыльнулся я с не совсем понятным торжеством, театрально, а вернее — поидиотски взмахнул рукой, а затем полез в карман за сигаретами.

— А ты меня помнишь? — спросила она. Я покачал головой и протянул им пачку; девушка взяла, а он не стал. — Кристина Брайс. Я была на класс старше.

— О-о, — протянул я, — ну да, конечно. Да, Кристина. А-а, ну да, понятно, Кристина. Ну да. Да. Ну и как ты, значит, м-м-м... как дела?

В действительности я напрочь ее не помнил и теперь отчаянно перетряхивал свои мозги в поисках хоть малейшего воспоминания об этом белокуром ангеле.

— Все путем, — улыбнулась Кристина. — А это Дейв Балфур, — добавила она, продолжая поглаживать талию белокурого красавца.

Мы кивнули друг другу:

— Привет.

— Хэлло.

После секундной паузы Кристина Брайс снова вернулась ко мне:

— Ну и что ты думаешь?

— О к-команде? К-концерте? — Она молча кивнула. — Э-э... з-д-дорово... д-да, з-д-дорово.

— Так...

— Н-но вам н-не хватает своего, оригинального м-материала, а номера из второй п-половины н-недостаточно п-проработаны, и у в-вас м-м-маловато слаженности, и м-можно б-бы поактивнее исп-п-п... пользоваться орган, и б-б-барабанам сильно н-недостает д-дисциплины... н-ну и, конечно же, т-такое н-название это п-просто... м-м-м...

Судя по их лицам, моя речь была воспринята, мягко говоря, без восторга. Я сунул нос в пластиковую пинтовую кружку, якобы утоляя внезапно вспыхнувшую жажду, и был вознагражден глотком теплого, совершенно выдохшегося лагеря.

Боженька ты мой милосердный, да чего же это я тут такого намолол? Оно же выглядело, словно меня воротит от всего, что они делают. О чем думала моя голова? Нужно было обхаживать этих ребят, стараться сблизиться, а не лягать их в зубы. Ну, только посмотреть, вот они — клево прикинутые ребятки из среднего класса сколотили команду, оттягиваются во

весь рост, выдают лучшую в городе музыку и, вполне возможно, настроены на куда большее будущее, если, конечно же, их вообще интересует музыкальная карьера, привыкшие, это уж точно, к похвалам, аплодисментам и общению в своем блестящем кругу, и вдруг какой-то нескладный, нелепый, еле языком ворочающий псих так вот прямо заявляет, что у них все плохо и все не так.

Ну как вот я выглядел в их глазах? Я был шести футов шести дюймов роста, но страшно сутулый, голова почти пряталась между плечами («Патагонский гриф» или попросту «Гриф», у меня и такое было прозвище; их было много, десятки, но прилипло «Уэйрд» — самое, пожалуй, верное). Глаза навывкате, огромный, крюковидный нос, длинные, тонкие, перманентно слипшиеся от своего природного жира волосы. У меня были длинные грабки и огромные, разновеликие ступни, одна одиннадцатого размера, другая двенадцатого. У меня были громадные, впору какому-нибудь душителю, кисти с толстыми, неуклюжими пальцами, которые не позволяли мне толком освоить гитару при всем желании и всех стараниях, в итоге я был просто вынужден взяться за басовую, у нее хоть струны малость пореже.

Я чудище, мутант, долговязая горилла, от меня дети шарахаются. Правду говоря, меня боятся даже некоторые взрослые, а остальные попросту хохочут или брезгливо отводят глаза. Я рос странновато выглядящим ребенком и вырос в страхолюдного юнца, и ладно бы еще, будь моя уродливость скромной, тактичной, но ведь я был страхолюден нагло, вызывающе. Ну какая, спрашивается, радость этим очаровательным, великолепно гармонирующим друг с другом, приличным людям смотреть на этакое пугало? Мне было неловко

даже просто находиться в одном с ними помещении. А уж что я там *наговорил*, так вообще...

Дейв взглянул на меня как на нечто среднее между дождевым червем и амебой, а затем — не то чтобы хохотнул, скорее негромко фыркнул:

— А в остальном, как говорится, ничего, жить можно?

— Э-э-э... *да*, — заторопился я. — Блестяще. Я... я... я думаю, вы м-можете достичь... ну, понимаете... — Я хотел сказать «достичь самых вершин», но это звучало бы предельно глупо. — Вы м-можете делать все, что вам... ну вот, значит... — Я с ужасом осознал, что моя способность выражаться членораздельно находится в данный момент не на высшем уровне. А мой высший — это то, что для среднего олуха — низший, а то и хуже. — Да х-х-х... — начал я, но вовремя остановился, решив, что ругаться не стоит. — Слушайте, я б-бы х-хотел как-нибудь вам п-поставить и поговорить по д-делу.

— Дело? — с сомнением переспросил Дейв Балфур.

— Да. У меня, пожалуй, есть нужные вам песни.

— Вот так прямо и есть?

Судя по лицу Дейва, он решал непростой вопрос: то ли повернуться и уйти, то ли сперва шархнуть меня по черепу микрофонной стойкой. Я кивнул и затаился с такой силой, словно в сигарете был не табак, а наркотик, восстанавливающий уверенность в себе. Кристина Брайс смотрела на меня с доброй, понимающей улыбкой.

— С-с-серьезно, — сказал я. — Д-дайте мне т-только п-поговорить с вами. У меня и мелодии, и слова, все вместе. Нужно т-только, чтобы к-кто-нибудь посмотрел. Вам они п-понравятся, вот честно. Они как прямо для вас.

— Ну, в общем, — начал Дейв, но тут уборщик окончательно не выдержал и начал ругаться.

Работяги уже открыли дверь в ночь, дождь и холодный, пронизывающий ветер и вытаскивали аппаратуру наружу. Я подхватил один конец колонки и помог спустить ее по ступенькам, на Хантер-стрит, где стоял в ожидании микроавтобус «транзит». Моя всегдашняя косорукость куда-то на время отвлеклась, и мы дотащили колонку, ни разу ее не грохнув. Дейв Балфур укладывал футляр с гитарой в багажник старого «хиллман-хантера», припаркованного сразу за «транзитом»; Кристина уже сидела в машине. Я подошел к Балфуру, еще больше ссутулившись из-за дождя и ветра.

— У тебя действительно есть материал? — спросил он, поднимая воротник мягчайшей кожаной куртки.

— Точно, — кивнул я. — Без балды.

— Верю. Вот только насколько он хорош?

Пару секунд я сосредоточивался, чтобы произнести фразу не экая и не мекая, а затем сказал:

— Он настолько хорош, что даже лучше вашей команды, какая она есть и какой б-б-будет.

Вот же мать твою! Всю дистанцию прошел, а на финише споткнулся! Этот ответ был у меня наготове уже целых два года, не хватало малого: чтобы кто-нибудь задал мне соответствующий вопрос. Произнесенная фраза не звучала и вполтину так весомо, интригующе и амбициозно, как в моих ночных фантазиях, но это ладно, главное — она была произнесена.

Дейв Балфур секунду попереваривал услышанное, а затем расхохотался.

— Лады. Тогда ты нам ставишь, как обещал.

— Когда?

— Да хоть завтра. Если хочешь — заходи к нам вечером на репетицию, а потом ходим куда-нибудь, примем по порции. О'кей?

— Хорошо. А какой адрес?

— Сент-Ниниан-террас, сто семнадцать. Мы будем в гараже. Часов в восемь.

— Хорошо, — сказал я. — До скорого.

Он забрался в машину, и тут же рабочие захлопнули дверцу «транзита»; через ветровое стекло смутно проглядывали бледные пятна их лиц.

Я побрел под гору, по Хантер-стрит, чтобы зайти в чипсовую купить, что просила мама, а потом идти к ней. Мимо прокатился, астматически перхая, «транзит», следовавший за ним «хиллман» притормозил, из левого окошка высунулась голова Кристины:

— Подбросить?

— В Фергюсли-парк? — рассмеялся я и покачал головой. — Ваши покрывки не выйдут из такого испытания живыми.

Кристина втянула голову и начала переговариваться с Дейвом, у меня было впечатление, что все это не его идея.

— Мы высадим тебя где-нибудь рядом.

— Ну-у... — протянул я. — Т-только мне нужно сперва купить, это, «фиш-энд-чипз»*, вам будет н-не...

— Ладно, залезай. — Она распахнула заднюю дверцу. — Я тоже запасусь картошкой.

Мы свернули на Гилмур-стрит и остановились у чипсовой лавки; Кристина дала мне деньги, и я сбегал за картошкой. Мы ехали, почти не разговаривая, под конец они высадили меня на Кинг-стрит.

* *Fish and chips* — стандартный рыбный обед: жареная рыба с картофелем фри.

И только один раз Дейв Балфур оживился, на Олд-Снеддон-стрит, когда мы стояли у светофора и рядом с нами втиснулась какая-то машина. Дейв оглянулся, толкнул Кристину локтем, сунул руку в загорелый кошелек на двери и вытащил что-то такое маленькое, черное; раздавался негромкий щелчок. Дейв озабоченно взглянул на эту черную штуку, затем на светофор, и так несколько раз. Я то ли слышал, то ли нет высокий, на грани человеческого восприятия, писк. Кристина покачала головой и отвернулась. Когда на загадочном устройстве вспыхнул маленький оранжевый огонек, Дейв прижал его к боковому окошку и тут же нажал на клаксон. Водитель соседней машины резко обернулся. Балфур приветственно помахал свободной рукой, а затем окутался ослепительной вспышкой света. Я сидел, пытаюсь проморгать плывущие в глазах круги и сообразить, что же это было, а Балфур с хохотом газанул вперед, под переключившийся светофор.

— Господи, — вздохнула Кристина, — ну какой же ты иногда ребенок.

Балфур глянул в зеркало заднего обзора и сдавленно захихикал.

— Отдай мне эту игрушку, — сказала Кристина.

— Сэмми Уокер, — сообщил Балфур, игнорируя ее требование. — Видела его? Я подловил его второй уже раз за неделю!

Дейва буквально душил хохот. Кристина оглянулась на меня и бессильно развела руками. Я неуверенно улыбнулся.

Дождь как шел, так и шел, мелкий, но зато противный, жир и уксус из быстро остывающих бумажных мешков обильно поливали мне брюки и куртку, и я ругал себя последними словами, что согласился на

мамину просьбу. Только и не хватало таскаться всю ночь по городу, да еще в такую погоду.

Возвращаясь в свою квартиру, я выудил наконец из сумбура своих школьных воспоминаний Кристину Брайс. Она и тогда уже была очень симпатичная, одна из этих самоуверенных старшеклассниц, аккуратно одетая, спокойная и собранная, чужеродное для Фергюсли-парка явление. Ну да, точно, она была классом старше, и странно даже, как я сразу не вспомнил тот случай три года назад, когда я еще льстил себя надеждой, что моя жуткая внешность может сойти за характерную; тогда, под Рождество, у нас в школе были танцы, и я набрался наглости пригласить эту Кристину; конечно же, она была старше меня и у нас так не было принято, но я думал, что с учетом моего роста...

Кристина вспыхнула и покачала головой, ее подруги захихикали.

Раздавленный стыдом, я ушел из зала и вообще с этой вечеринки, а потом долго бродил по Пейсли — жалкий, несчастный, униженный и до костей промерзший — в тесных новых ботинках и в тонкой, на рыбьем меху, старой куртке, бродил до того времени, когда вроде бы танцам пора бы и кончиться, а то, если бы я вернулся слишком рано, мама обязательно стала бы расспрашивать почему, а я выворачивайся как хочешь.

А так я просто сказал ей, что прекрасно провел время.

Глава 3

Теперь, похоже, уже и нет настоящих телеграмм, вместо них появились какие-то теледепешы, липовые телеграммы, которые приходят вместе с обычной почтой. Вот такую-то штуку и закинули в прошлую

среду на груди корреспонденции, громоздящуюся за маленькой задней дверью ризницы собора Святого Джута. Здоровенная, в три года высотой гряда состоит по большей части из рекламной макулатуры, и я не обращаю на нее внимания — ну, разве что так, иногда, поковыряюсь ногой, нет ли чего интересного. Важная корреспонденция поступает через моих юристов, и все люди, имеющие для меня хоть какое-то значение, знают, что писать прямо на мое имя практически бессмысленно.

Рик Тамбер должен бы знать, знал, наверное, но забыл. Когда я очередной раз пинал кучу макулатуры, на кафельный пол упала теледепеша, я поднял ее и тяжело задумался — вскрывать или не стоит. Это было нечто неожиданное, а значит — чреватое неприятностями, у меня на этот счет весьма богатый опыт. А хрен с ним, сказал я себе, разрывая конверт.

Приезжаю воскресенье 21-го середина дня. Важно. Будь у себя. Пожалуйста. Это будут хорошие новости. Наилучшие пожелания.

Рик Т.

Хорошие новости. Это настораживало. Рик Тамбер возглавлял «ARC», нашу записывающую компанию. Когда он говорил о хороших новостях, это почти непременно значило, что где-то там, каким-то там образом можно заколотить большие деньги. Я сразу же начал строить планы, как бы смыться на это время из города, хотя и предчувствовал, что ничего из этого не выйдет, если не одно помешает, так другое.

Я засунул депешу обратно в конверт и водрузил конверт на вершину бумажной горы, словно притворяясь, что ничего я не видел, ничего не читал и ни-

какие перемены мне не грозят, а затем поднялся по каменным ступенькам на клирос. Я еще не завтракал, а то, что служило мне кухней и столовой, располагалось в южном нефе.

Собор Святого Джута, известный также как «Уайксов каприз», выглядит точь-в-точь как церковь, таковой не являясь. При нем имеется и нечто выглядящее точь-в-точь как кладбище, однако могил на этом нечто нету.

Амброз Уайкс, 1819—1898, был единственным сыном удачливого торговца джутом из Данди, он значительно расширил отцовское дело, превратил скромное состояние в огромное, а в начале 1890-х перебрался в Глазго, чтобы сподручнее руководить установлением другой торговой империи — компании, импортировавшей американский табак. Он всегда был несколько сумасбродом, вырядил, к примеру, своих слуг на манер корабельной команды: дворецкого — капитаном, горничных — юнгами и оборудовал свою виллу в Бердене небольшим маяком, который привлекал уйму перелетных птиц и доводил соседей до бешенства; впрочем, по викторианским меркам его странности не были особо вопиющими, к тому же все знали, что он — ревностный католик, преданный супруг и любящий отец.

Во всяком случае, так оно и было до мая 1864 года, когда его жена Мэри и их единственный ребенок погибли при крушении поезда. Мальчик был всего двух недель от роду. Хуже того, его не успели даже окрестить. Амброз знал, что в результате душа невинного ребенка не сможет войти в Царствие Небесное, что райские врата закрыты для нее наглухо и навечно, и это удваивало его терзания; Амброз запил и начал страдать бессонницей, врач прописал ему лауданум.

Траур Амброза выходил далеко за рамки благопристойности и хорошего вкуса; его берденский дом и вилла в Хантерс-Ки, на берегу Холи-Лох, были сплошь задрапированы черным холстом. Вся мебель была ново обита черным, все ковры были убраны, а их место занял черный фетр, все картины и портреты были завешены черным крепом, а всем слугам было приказано одеться могильщиками. Большая часть их уволилась.

Амброз зачастил к своему приходскому священнику в сопровождении смущенного, но зато щедро оплачиваемого адвоката в тщетной попытке найти в небесном законоуложении щель, лазейку, которая поможет душе его усопшего сына снискать вечное блаженство. Священник, епископ и призванные на помощь иезуиты пытались его успокоить и вразумить, но Амброз с порога отвергал все их утешения. Он перестал ходить в церковь и даже исповедоваться.

Амброз напрочь забросил свои коммерческие дела и тратил все больше времени на сочинения писем священникам, епископам, кардиналам и даже самому Папе, упорно требуя, чтобы те изыскали в дебрях теологии тропинку, по которой душа его сына могла бы достичь вечного блаженства; он опубликовал целый ряд брошюр с призывами к реинтерпретации некоторых библейских стихов. Затем он начал пикетировать свою приходскую церковь — сидел у ее входа в специально для того приобретенном катафалке, а тем временем особо оплаченная группа складских рабочих ходила вокруг с плакатами, призывающими к реформе.

Однако эти рабочие тоже были католиками; вскоре они узнали от своих собственных священников, что участие в столь непотребных действиях даже за тройную почасовую оплату губительно для их душ и совершенно бесполезно для души усопшего младенца. Тогда

Амброз приспособил к делу расхристанных забулдыг, набранных по трушобам; они крыли прихожан последними словами, ссали на церковные стены и дрались с полицией.

Амброз пропускал мимо ушей все более настоятельные предупреждения и ледяные советы немногих своих друзей и вскоре остался вовсе без оных. К этому времени его коммерческая империя, столь долго лишенная хозяйского пригляда, оказалась на грани краха, и он ее продал. Судебные предписания лишили его возможности мало-мальски эффективно пикетировать церковь, и он отступил — ожесточенный, надломленный, но не утративший ни капли своей одержимости, богатый, но почти бессильный.

Горечь Амброза проросла ненавистью. Его брошюры поливали церковь грязью по каждому поводу и в конце концов стали такими непристойными, что типографии отказались их печатать. Амброз купил свою собственную типографию, она продержалась еще некоторое время, но затем рухнула под градом судебных исков и штрафов. В 1869 году его отлучили от церкви.

Однако Амброз был полон решимости посчитаться с церковью тем или иным способом. В конце концов, после многих раздумий и бесчисленных бутылок бренди, он решил использовать для этой цели один из немногих объектов недвижимости, все еще оставшихся в его владении: пустырь на Сент-Винсент-стрит, между Элибэнк-стрит и Холланд-стрит. Продав практически всю остальную свою собственность, он заплатил огромные деньги некоему так и оставшемуся неизвестным архитектору и — если верить слухам — еще большую сумму одному из членов городского совета, чьими стараниями разрешение на строительство было получено легко, как по маслу.

Он воздвиг собственную церковь. Готическую. В стиле, определенном одним из архитектурных путеводителей как ублюдочная помесь изуродованной пирсоновской нормандской готики с нескладной, легкомысленной ломбардской. В этой церкви было все, что положено: неф, трансепты, клирос, ризница, крипта, скамьи, алтарь, даже колокольня с колоколами (заранее, по заказу Амброза, надтреснутые колокола имели абсолютно кошмарный звук, однако специальное судебное постановление принудило их к молчанию).

Пустой участок на задах пустыря был превращен Амброзом в пародийное кладбище; нанятые им каменотесы (из протестантов, а как же иначе) изготовили по надгробному камню для каждого из многочисленных врагов, появившихся у него за предыдущее десятилетие. На каждом камне была правильная дата рождения, но за ней следовала дата кончины Амбрововой дружбы с одним из прошлых друзей либо просто дата, когда он решил, что эта вот конкретная личность не имеет права поганить своим присутствием землю. Рядом с его священником, епископом, парой кардиналов и некоторым количеством иезуитов расположился богатейший набор юристов, коммерсантов, судей, газетчиков, городских советчиков и строительных подрядчиков; можно было подумать, что всех их смела катастрофическая, сословно ориентированная чума, свирепствовавшая в городе с 1865 года чуть ли не до конца столетия.

Сие сооружение было известно как «Уайксов каприз» или — в память о первоначальных занятиях Амброза — собор Святого Джута. Оно приобрело широкую известность, стало одной из достопримечательностей Глазго. Оно упоминалось в путеводителях, газеты печатали письма читателей, требовавших снести его, небольшая группа вольнодумцев образовала Общество

друзей Святого Джута, доступная с улицы часть церковных стен страдала от вандализма: от нее отбивали кусочки камня, на ней писали и выцарапывали всякую непотребницу.

В качестве ответного удара Амброз украсил церковь не совсем обычной статуей. Неизвестный скульптор изобразил его покойную жену Мэри с некрещеным ребенком на руках как Мадонну с младенцем.

Позднее, из брошюры, напечатанной через много лет после смерти Амброза, стало известно самое пикантное обстоятельство: он искренне считал, что выше многократно упоминавшийся ребенок был зачат не непотребно, но непорочно. В свою первую брачную ночь, при первой попытке установить супружеские отношения, находясь уже в нескольких дюймах от желанной цели, Амброз испытал преждевременную эякуляцию; он поспешно ретировался и — если верить его утверждениям — был слишком смущен, чтобы сделать повторный заход. Однако его семя оказалось куда более решительным и целеустремленным: успешно перенеся недолгое воздушное путешествие, оно, надо думать, заняло малыми силами весьма ненадежный плацдарм в бутоне женственности; в сердце этой розы проникла разве что какая-то капля, но этого оказалось достаточно, чтобы некий особо шустрый живчик прошмыгнул мимо нерушимой девственности миссис Уайкс и оплодотворил яйцеклетку.

Амброз считал, что ребенок, родившийся к жизни земной столь чудесным (как ему виделось) образом, имеет право на особое отношение и в жизни загробной, однако природная стеснительность не позволяла ему раскрыть обстоятельства столь интимного свойства кому бы то ни было, в том числе и теологическим авторитетам.

В 1898 году на Страстную пятницу северный трансепт Амбросовой церкви серьезно пострадал от пожара; то же самое пламя пожрало и большую часть его архива. Сам Амброз получил тяжелые, обширные ожоги, несколько недель держался и даже вроде бы пошел на поправку, но все-таки помер, в аккурат на Вознесение.

В его завещании была оговорена вполне приличная сумма на содержание церкви; дохода с этих денег хватило, чтобы мало-помалу восстановить поврежденное пожаром. Весьма естественным образом собор Святого Джута перешел в собственность «Друзей Святого Джута», которые использовали его для складирования своих атеистических публикаций. Эти самые «друзья» существуют и по сю пору; в начале двадцатых годов они забросили здание, долго пытались его продать, но не находили покупателя — согласно Амбросову завещанию будущие владельцы не имели права что бы то ни было сносить или радикально перестраивать. Я купил собор Святого Джута в 1982 году, когда решил удалиться от мира, и так с тех пор там и живу, в тепле и уюте.

В дверь позвонили чуть за полдень, как раз когда я варил себе идеологически выдержанный никарагуанский кофе. У меня его как грязи, десятки ящиков.

Все утро я провел в студии, то бишь в крипте, — игрался с синтезатором и изучал руководство к свежеприобретенному секвенсору. Я все еще сочиняю мотивчики, джинглы и отбивки, рекламные темы, иногда — саундтрек для фильма. Деньги мне не нужны, но так и время быстрее летит, и квалификацию поддерживаешь. Джинглы, отбивки и темы суть три из причин, по которым я ненавижу телевизор и радио. С того времени, как распалась команда, я не выношу

своих опусов, во всяком случае — когда они вот так, в эфире, и мои и не мои.

Я подумал, что, может, это Блайтсвудская Бетти. Бетти — это шлюха, навещающая меня раза два-три в неделю, для того, наверное, чтобы я не слишком уж привязывался к своему кулаку. Хорошая баба, безо всякой там дури в голове. Вообще-то сегодня вроде бы не ее день, но у меня такие вещи всегда путаются. Я пошел взглянуть, кого там принесло.

Амброз снабдил свою церквуху массивными дверями и решетками на окнах, я же пошел еще дальше: теперь за каждым из входов наблюдала телекамера. Вся моя электроника, за вычетом музыкальной, была составлена штабелями за кафедрой, с которой так никогда и не выступил ни один священник; я пошел и взглянул на монитор главного, с Холланд-стрит, входа.

Макканн стоял посреди паперти, он держался левой рукой за голову, заметно покачивался, строил мне рожи и тыкал пальцем в дверь, его губы шевелились.

Я включил микрофон.

— ...вай на хрен эту долбаную дверь.

Я нажал нужную кнопку и пошел его встречать.

— Господи, — вырвалось у меня при виде крови. — Где это тебя...

— Да вот, голова, — неопределенно объяснил Макканн, привычно направляясь на клирос; его ноги сильно заплетались, прижатый ко лбу платок окрасился в алый революционный цвет. Ну и куда ж его такого? Только в ванную (каковая располагалась в цокольном этаже колокольни).

— Чем это тебя?

Я закинул жутковатый носовой платок в раковину и полез в аптечку за пластырем и прочей санитарией.

— Да вот, слегка поспорили, — сказал Макканн, тяжело опускаясь на край ванны и с интересом разглядывая свою руку. Затем он откинул голову, и я начал опасливо обрабатывать глубокую, у самого края волос, ссадину.

Макканн был одним из двоих моих самых близких — нет, не друзей, друзья у меня последнее время как-то подвывелись, скорее уж — соучастников. Лет пятидесяти или около того, невысокий, седоватый, но все еще крепкий, он начинал свою карьеру докером, но давно уже переквалифицировался в профессиональные безработные; глубокие складки между тяжелыми, нависающими бровями придают ему вид человека, который постоянно — и вполне успешно — ищет, что бы еще воспринять без малейшего удивления, человека, непоколебимо уверенного, что мир обязан перед ним хотя бы уж извиниться. Самое интересное, что все это в точности соответствует взглядам и чувствам Макканна, его внешность ничуть не обманчива.

— Ты что, приварил кому-нибудь балдой? — Я наклонил бутылочку с ТХФ чересчур сильно, и ему затекло в глаз.

— А-а-а! — взвыл Макканн. — Ты чё, совсем сдурел?

Он метнулся к раковине и плеснул себе в лицо пару пригоршней воды.

— Я нечаянно, — объяснил я, словно кто-то в этом сомневался. — Прости.

Обычная история. Я в своем репертуаре. Я только тем и занимаюсь, что делаю людям больно. Всю свою жизнь я то роняю на кого-нибудь что-нибудь тяжелое, то впиливаюсь в кого-нибудь с разбега, то поворачиваюсь слишком порывисто и заезжаю локтем в чей-нибудь глаз, то наступаю на чью-нибудь ногу — перечень можно

длитель и длительно. Мало-помалу я с этим вроде и свыкся, чего нельзя сказать об окружающих. А чего бы мне и не свыкнуться, если больно не мне, а им, другим (правда, на мою долю достается эта, с большого «В»).

— Ладно, Джимми, все путем.

Макканн называет меня «Джимми» не в том смысле, как незнакомого на улице, «посторонись, Джимми», он считает, что это и вправду мое имя. Я сам сказал ему, что меня зовут Джеймс Хей. Сказал в шутку, а он поверил, а мне не хватило духу признаться, что «Джимми Хей» — это «Хей, Джимми», только наоборот. А еще Хей — девичья фамилия моей матери. Макканн не знает, кто я такой, он думает, что я здесь, в церкви, просто сторожем.

Я попытался отмотать пластыря, но тот намертво прилип к моей руке; тем временем Макканн снова сел на край ванны. Я передал ему рулончик и начал отдиирать пластырь от пальцев. Теперь можно было вернуться к расспросам:

— Так что там с тобой?

— Да вот, у Броди вроде как поспорили с одним недоделком.

Он вытерся полотенцем, встал, подошел к зеркалу и начал прилаживать пластырь.

— И о чем бы это?

— Ну, как всегда. О политике. Этот пустобрех начал распинаться, что нам, значит, ну просто вот так вот необходимо сохранить свое ядерное оружие. А я сказал, что это ему вбили в его хрящом проросшую башку империалисты своей пропагандистской машиной и что все эти независимые средства сдерживания не более чем фарс, что мы оплачиваем своими кровными американскую военную машину, которая вся только для того, чтобы представлять собой угрозу

завоеваниям стран, где вся власть принадлежит рабочим, и вынуждать Советский Союз тратить такую значительную часть своего валового национального продукта на оборону, чтобы рабочие усомнились в целях и задачах руководства.

— И тут он тебя шарахнул.

— Не-а, он сказал, что я комми, а я сказал, ну да, конечно, и очень этим горжусь.

— И тут он тебя шарахнул.

— Не-а, он сказал: ясненько, значит, я хочу, чтобы эти русские сюда заявились, так, что ли, значит? А я сказал, что каждый рабочий класс должен сам совершить свою революцию, это его собственное дело, а эти разговорчики, что Советский Союз прямо спит и видит, как бы ему вторгнуться в Западную Европу, — бред собачий, мало им, что ли, забот со всеми этими чехами-поляками, да и вообще какая бы им радость, ведь попутно, пока они будут нас захватывать, если уж они не сотрут в порошок все главные промышленные центры, так уж янки, те уж точно сотрут, а что насчет втихаря, неожиданно долбануть атомной бомбой по чужой стране, так такое было в истории один только раз, и тут уж этот долбаный Советский Союз вроде как и ни при чем.

— И вот *тут-то* он тебя шарахнул.

— Не-а, он сказал, что это из-за таких, вроде как я, которые хотели умиротворить Гитлера, и началась война, а я ему сказал, это как раз коммунисты-то и боролись в Германии против фашистов, а сталинисты, вместо того чтобы помочь им, бросили их на произвол судьбы, точно так же, как они бросили на произвол судьбы испанских республиканцев, а что до людей, которые надеялись умиротворить, так это правые ублюдки, которые решили, что вот они и фашисты все вместе и